Фунты лиха в Париже и Лондоне

Автор:
Джордж Оруэлл

Фунты лиха в Париже и Лондоне

Джордж Оруэлл

«Фунты лиха в Париже и Лондоне» – это первое крупное произведение, которое начинающий литератор Эрик Блэр выпустил под псевдонимом Джордж Оруэлл. По сути – автобиографическая повесть, написанная им через пару лет после завершения службы в полиции Бирмы. Это история о том, как Оруэлл решил попытать счастья в Париже, в качестве преподавателя английского языка. К сожалению, с карьерой учителя не сложилось, и вчерашний преуспевающий офицер оказался в своеобразном антимире, где царили голод и нищета, где каждый выживал как мог, а за кусок хлеба запросто можно было лишиться жизни. Крошечная комнатка в трущобах, семнадцатичасовой каторжный труд и отсутствие нормального питания подорвали и без того не особо крепкое здоровье Оруэлла. Спустя несколько лет совершенно больной и подавленный он возвратился в Лондон. Но и здесь ему оказались не особенно рады.

Джордж Оруэлл

Фунты лиха в Париже и Лондоне

George Orwell

Down and Out in Paris and London

© перевод Вера Домитеева

© ИП Воробьев В. А.

© ИД СОЮЗ

* * *

О злейший яд, докучливая бедность!

Джефри Чосер

I

Париж, улица дю Кокдор, семь утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей – хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны.

Мадам Монс: "Sacree Salope![1 - Чертова шлюха! (фр.).] Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? Esp?ce de tra?nee![2 - Ну и потаскуха! (фр.).]

Квартирантка с четвертого этажа: "Va donc, eh! vielle vache!"[3 - Да заткнись, сволочь старая!]

Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов.

Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы дю Кокдор. Не то что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов.

Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков.

Улица очень узкая – ущелье в скалах громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные "бистро", где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин; арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба.

Моя гостиниц называлась "Отель де Труа Муано" ("Трех воробьев"). Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей patronne[4 - Хозяйка (фр.).], подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в своем номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга, уютно. Стоило житье от тридцати до полусотни франков в неделю.

Состав народонаселения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было – сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков, остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу

богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшем себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по шестнадцать часов в сутки штопала: носок за двадцать пять сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам – служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери.

Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством.

Скажем, чета Ружиер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом – как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно; жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, Ружиеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги Ружиеры ни разу за четыре года не раздевались.

Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие – молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего; размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще

месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги.

Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил, каждодневно выпивая четыре литра вина, по субботам – шесть литров; однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня Р. был единственным в квартале англичанином.

Хватало и других, не менее причудливых персон: месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший; лимузенский каменотес Фуре; скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда; Лоран, старик тряпичник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий. Однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они часть темы. А тема моего рассказа – бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.

II

Жизнь нашего квартала. Ну, хотя бы наше бистро при входе в "Отель де Труа Муано". Крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью "Credit est mort"[5 - "Кредит скончался" (фр.).], красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф., ослепительной крестьянки из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги "для желудка", перестук

костяшек в играх на аперитив и песни про "Les Fraises et les Framboises"[6 - "Землянички и малинки" (фр.).], про Мадлен, озадаченную "Comment epouser un soldat, moi qui aime tout le regiment?"[7 - "Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк?" фр.).], и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро; думаю, трудновато найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились.

Речи порой звучали странные. Как пример приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков.

Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно коротки, на пальцах младенческие ямочки; говорит, пританцовывая, как бы не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот три часа дня, и в бистро никого кроме мадам Ф. да парочки безработных, но перед кем выступать, Шарлю все равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витийствует подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Поросячьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него слегка муторно.

Любимый сюжет рассуждений Шарля – любовь.

"Ah, l'amour, l'amour! Ah, que les femmes m'ont tue![8 - Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! (фр.).]

Да, messieurs et dames[9 - Дамы и господа (фр.).], женщины меня сгубили, сгубили окончательно и безнадежно. В двадцать два года изнурен, истощен до капли… Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул! Это ли не триумф – обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия человека поистине raffine, vicieux[10 - Утонченным, порочным (фр.).]…

…Messieurs et dames, вам грустно, о, конечно. Ah, mais la vie est belle[11 - Но жизнь прекрасна (фр.).] – я умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости!

Наполним же кубки самосским вином,

Забудем о наших печалях!

Ах, как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа! Я, столь многое познавший, раскрою, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что есть подлинная любовь, подлинная утонченность любовной страсти, высшее из наслаждений, доступное лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня – и чувство, и даже желание его канули безвозвратно.

Слушайте же, господа. Это случилось два года тому назад; мой брат – он, кстати, адвокат – наведался в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы отправились в ресторан, где после третьей бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан – уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. Тысяча сто франков! Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братец не знал – безопасность гарантировалась.

Куда идет мужчина с тугим бумажником? Естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазых рыл? Перед вами, черт возьми, не дикарь! С тысячей франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым утонченным. Только в полночь нашлось наконец нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с очень изысканным юношей лет восемнадцати – смокинг, стрижка a l'americaine[12 - Под американца (фр.).], – мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том, о сем, о способах развлечься. Вскоре взяли автомобиль и поехали.

Такси остановилось возле узкой безлюдной улочки. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась. Вылезла рука – огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.

Гид мой, поставив ногу в дверную щель, спросил: "Сколько?". "Тысячу, – прохрипел женский голос. – Деньги вперед, иначе ходу нет".

Я вложил тысячу франков в хищную лапу, а остальные сто отдал милому юноше, который пожелал мне приятной ночи и удалился. Слышно было, как за дверью бормочут, считая купюры, затем тощая старая ворона, вся в черном, высунув нос, долго и подозрительно меня разглядывала прежде чем впустить. Внутри темно, не видно ничего кроме трепещущего газового огонька, ярким отсветом на стене только сгущавшего окружающий мрак. Пахло пылью и крысами. Старуха, молча запалив свечку от рожка, так же молча заковыляла впереди по каменному коридору к лестнице.

"Voil?![13 - Ну вот! (фр.).] – проговорила она. – Спускайтесь в подвал и делайте что хотите. Ничего не увижу, не услышу и ничего не буду знать. У вас свобода, ясно? Полная свобода".

Ах, господа, надо ли описывать – forcement[14 - Неизбежно (фр.).], вы и сами это изведали – эту дрожь ужаса и восторга, пронзающую человека в подобные мгновения? Ощупью я стал пробираться вниз; тихо, ни звука, только шелест собственного дыхания и шорох своих шагов. На нижней лестничной площадке под рукой обнаружился электрический выключатель. Я нажал кнопку, и массивная гроздь из дюжины стеклянных красных шаров залила весь подвал багровым светом. И не подвал предстал передо мной, а спальня – огромная, вызывающе роскошная спальня, полная до краев оттенками багрянца. Вообразите только, messieurs et dames! Красный ковер на полу, красные обои, красный плюш кресел и даже потолок красный – везде горящее, бьющее в глаза красное. Душное красное, будто светящееся сквозь хрустальные чаши крови. В глубине помещения гигантская квадратная кровать с красным, как и все остальное, покрывалом; на постели девица в красном бархатном платье. При виде меня она сжалась, попытавшись закрыть коротенькой юбкой колени.

Я замер в дверях. Позвал: "Иди же ко мне, цыпочка".

Она испуганно захныкала. Тогда одним прыжком я на кровати; девица вертелась, отворачивалась, но я схватил ее за горло – вот так, накрепко! Она билась и молила о пощаде, но я не ослаблял железной хватки, упорно запрокидывая ей голову и неотрывно глядя в глаза. На вид ей было лет двадцать; широкое коровье лицо напудрено и нарумянено, но все еще лицо глупой девчонки, и в глупых голубых глазенках вместе с бликами красной

люстры бился тот сумасшедший страх, узреть который нам дано только во взглядах подобных женских существ. Несомненно, какая-то крестьянка, проданная родителями в рабство.

Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее как тигр! Ах, восторг, несравненные радости былого! Вот, messieurs et dames, что я взялся вам изъяснить, – voil? l'amoure! Вот любовь подлинная, вот единственно достойный объект стремлений, вот то, рядом с чем все ваши искусства, идеалы, взгляды, теории, благородные позы, возвышенные речи бесцветны и бесплотны словно пепел. Какое из земных сокровищ окажется для человека, познавшего любовь – истинную любовь, – выше хотя бы тени, призрака этого восторга?

Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот. "Пощадить? – рассмеялся я. – По-твоему, я здесь для этого? За это, по-твоему, брошена тысяча франков?" И клянусь, господа, если бы не цепи проклятого закона, я бы ее тогда угробил.

Ах, как она кричала, с какой отчаянной, горчайшей мукой! Но никто не услышал – под парижскими мостовыми мы были скрыты подобно фараонам в их пирамидах. Слезы ручьем текли по девичьим щекам, размывая пудру длинными грязными канавками. О, золотые дни! Вам, messieurs et dames, вам, не изощрившим любовный пыл, трудно и почти невозможно оценить сладость моего наслаждения. Да и сам я, простившись с юностью, – о, моя юность! – никогда уже не смогу вкусить жизни столь восхитительной. Кончено!

Да, все в прошлом – в невозвратном прошлом. Ах, скудость, краткость, тщетность человеческой радости! Ибо на самом деле – car en realite – сколько же длится высочайшее воспарение любви? Нисколько: миг, мгновение, секунду. Секунда блаженного экстаза, вслед за которой прах и пустота.

Итак, всего на миг я взмыл к вершине счастья, затрепетал чувством острейшим и тончайшим из всех возможных… И тут же мгновение пронеслось, а я, покинутый, остался – но зачем? Вся моя страсть, моя свирепость вдруг исчезли, осыпались сухими лепестками увядшей розы. А я остался, безразличный, истомленный, полный напрасных сожалений; в этой внезапной перемене чувств я испытал даже некую жалость к хнычущей на полу девице. Не гнусно ли, что нас подстерегают ловушки столь пошлых эмоций? На девчонку я больше не взглянул, единственным желанием было скорей убраться. Поспешив вверх по

ступеням, я выбежал из дома. Тьма и жуткий холод, камни булыжника вторили стуку моих каблуков глухим пустынным звоном. Деньги все разлетелись, не нашлось даже мелочи на такси, и я пешком добирался обратно, в свою холодную одинокую келью.

Вот, messieurs et dames, то, о чем обещал я вам поведать. О сущности Любви. О лучшем, счастливейшем дне моей жизни".

Специфическим экземпляром был этот малыш Шарль. Описываю я его исключительно ради иллюстрации пестроты нравов, расцветавших на почве квартала Кокдор.

III

Мое житье-бытье на улице Кокдор длилось примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего кроме тридцати шести франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом – очень мудро, как оказалось, – авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течении которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар.

В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек – цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных – никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще, вор не вытряхнул все из карманов, я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался с капиталом в сорок семь франков (семь шиллингов, десять пенсов).

Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков – шиллинг, с этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое.

Вообще, интересно – первые собственные ощущения бедняка. Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота – нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар, – нет, унылая серая скука. И та особая, чисто бедняцкая жалкость, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам, крохоборству.

Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты – потаенность. Внезапно сброшенный на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающем. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол – пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик – соответственно нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться, результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево.

Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь

ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем – хоп! насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать: молоко выплескиваешь, сидишь голодным.

Идешь в булочную купить фунт хлеба, ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: "Pardon, monsieur", – щебечет она, – не возражаете побольше на два су?". Хлеб по франку за фунт, в кармане ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом.

Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем чтобы уже никогда там не появляться.

Забредаешь в респектабельный квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды.

Открываешь, что такое – быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды: свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того как поймают; не решаешься исключительно из трусости.

Открываешь неотделимую от бедности хандру; тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты, вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским "jeune squelette"[15 - "Молодым скелетом" (фр.). Из стихотворения Шарля Бодлера "Веселый мертвец".]; возродить "кости, изнывшие от пыток" могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями.

Вот она – описывать ее можно и дальше, но суть та же, – жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют: упорные художники и

студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд. Жители целого своего округа, предместья нищих.

Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей: украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань Сен-Женивьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. "Merde![16 - Буквально – "дерьмо!" (фр.); популярное ругательство в значении "черт!", "к черту!".] – кричал он. – Опять явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?". Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношеную, бросил пять франков, пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два белых бильярдных шарика и мигом вытолкал, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману.

Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение: надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравновешивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности – будущее исчезает. В определенном смысле, действительно чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь: "Через пару дней придется просто голодать – кошмар ведь?". И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы.

И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, ну вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужества.

IV

Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне двенадцать франков. Я оказался с тридцатью сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой вместо того чтобы вытащить вещи тайком, – популярнейшим трюком нашего квартала было "дернуть по-тихому".

Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал (естественно, со скрижалью "Liberte, Egalite, Fraternite"[17 - "Свобода, Равенство, Братство" (фр.).], осеняющей во Франции даже двери полицейских участков) входишь в похожее на школьный класс большое голое помещение. Ряды скамеек, на которых человек сорок-пятьдесят. Закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкликает: "Numero[18 - Номер (фр.).] такой-то, на пятьдесят франков?". Иногда предлагают всего пятнадцать франков, даже десять, даже пять – сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: "Numero 83, сюда!" и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Numero 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга Numero 83, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь.

Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов десять и дадут четверть (ждешь в ломбарде обычно четверть цены), стало быть франков триста, я не тревожился. Ну, в худшем случае получу двести.

Наконец прозвучал мой номер: "Numero 97!"

– Да, – поднялся я.

– Семьдесят франков?

Семьдесят франков за вещи стоимостью десять фунтов! Но спорить не приходилось; некто пытался возражать и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне (пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда), и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа.

Завидев меня, убиравшая бистро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы:

– Ну как? Сколько вам дали за все вещи? Что, маловато?

– Двести франков, – быстро проговорил я.

– Tiens![19 - Вот как! (фр.).] – вскинула брови мадам Ф. – Совсем, совсем неплохо. Дорога уж, видно, эта английская одежда!

Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков, давно обещанные за газетную статью. С болью, однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой.

Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили коленный артроз; Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений.

Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет тридцати пяти, правда из-за болезни, от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь, полная приключений. Родители, расстрелянные в Революцию, были из богачей, сам Борис всю войну прослужил офицером Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на

фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос наконец до официанта. Заболел он, когда служил в “Отеле Скриб", имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить пятьдесят тысяч и завести аристократический ресторанчик на Правом берегу.

О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все связанное с армией радовало его сердце. "Клозери де Лила" сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то, если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции "Коммерс", а на "Камброн", столь сладостно напоминавшей ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким "Merde!".

Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий – их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались:

– Voil?, mon ami![20 - Вот, мой друг! (фр.).] Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики. В двадцать лет капитан – неплохо? Да, капитан Второго сибирского, а отец-то был полковником.

Ah, mais, mon ami[21 - Ну что же, друг мой (фр.).], жизнь это взлеты и падения! Капитан русской армии и вдруг, бац! революция – все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в “Отеле Эдуард VII", в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером[22 - От французского plongeur – мойщик посуды (в ресторане).] и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном.

Эх, однако знавал я что такое жить джентльменом, mon ami. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, и вышло больше двухсот. Да, за двести точно… Эх, ладно, ?a reviendra[23 - Еще поживем! (фр.).]. Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!.."

Натура Бориса поражала странной пластичностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят, это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.

"Обслуживать гостей – играть в рулетку, – повторял он. – Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. Жалование тебе не платят, только на чаевых – десять процентов к счету да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые! Бармен в "Максиме", например, за смену имеет пятьсот франков. И больше даже, если сезон… Я сам, бывали дни, по двести набирал – это в Биаррице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего плонжера, вертелись двадцать часов в сутки; месяц подряд двадцать часов носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того – две сотни в день…

…Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то, я тогда работал в "Руайаль", один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. "А ну, гарсон, – говорит мне клиент (пьяный в дым), – я сейчас пью дюжину и ты дюжину, и если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков". Я дошел – он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял: дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом, к зиме уже, слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили – растратчик. Что-то в них все-таки есть милое, в этих американцах, разве нет?

Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. "Поживешь наконец по-человечески, – уговаривал он. – Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет? Сочинять это трепотня. Писателю один путь в люди выйти – жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, – ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться! Ты, mon ami, если совсем прижмет, сразу ко мне – устрою запросто".

Не представляя, чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом, но мыть посуду я наверное сгожусь, эту работу он, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место плонжера – только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство.

V

Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Блан Манто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что "все более-менее нормально" – следовало полагать, мой приятель снова в “Отеле Скриб", вновь ежедневно набирает свои сто франков. Воспрянув духом и кляня себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви, уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал два с половиной франка на пачку сигарет "Голуаз" в предвкушении скорого благоденствия.

Утром я разыскал улицу Марше де Блан Манто, с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была кромешнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа – известного "Бульона Зип", двадцать пять сантимов пакетик. Сердце слегка екнуло: употребляющие "Бульон Зип" либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса сто франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома, "на самый верх". По узкой винтовой лестнице я полез на шестой этаж, с каждым пролетом запах "Бульона Зип" крепчал. Борис не отозвался на мой стук, я толкнул дверь и вошел.

Чердачная комнатушка метров девять, свет через тусклое оконце в потолке, меблировка – железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал, живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню, голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал:

– Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана!

– Что случилось? – кинулся я.

– Да спина вдребезги, вот что! На полу валялся всю ночь. Ох, дьявол, боль в спине – тебе не передать!

– Борис, мой дорогой, ты заболел?

– Не заболел, только оголодал до смерти – сдохну с голода, если вот так и дальше. Мало того что на полу спи, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал ты меня, mon ami.

Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в “Отеле Скриб". Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал, все свои деньги он истратил, все вещи заложил, настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделю ночевал у причала под Аустерлицким мостом, на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея, механика. Дело в том (следовало изложение каких-то путаных обстоятельств), что еврей задолжал Борису триста франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал два франка на еду. Два франка кормили чашкой кофе с тремя рогаликами. Когда еврей в семь утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место (прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь) и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала.

Большое было разочарование – придя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше шестидесяти франков и мне необходимо срочно найти работу. Борис тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно:

– Бог мой, о чем ты беспокоишься? Шестьдесят франков – состояние! Будь добр, подай-ка мне ботинок, mon ami. Я собираюсь уничтожить передовые части клопов, едва негодяи войдут в пределы досягаемости.

– Но ты считаешь, возможно найти какую-то работу?

– Возможно? Никаких сомнений. На самом деле, у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс – вот-вот откроется. И une chose entendu[24 - Дело решенное (фр.).], что я там буду метрдотелем. Тебя на кухне пристрою запросто. Пять сотен в месяц плюс питание, иной раз даже чаевые.

– А пока? Скоро мне опять платить за комнату.

– О, что-нибудь найдем! У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг, – в Париже таких полно, кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты подумай обо всех тех дамах, которые меня любили! Женщины, знаешь, никогда не забывают; только шепни – мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магнето из гаража и будет платить по пятерке в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, mon ami. Деньги достать проще простого.

– Ну так пошли сейчас и найдем место.

– Сейчас, mon ami. Без куска не останемся, не бойся. Дело обычное, капризы солдатской фортуны – сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правило Фоша: "Attaquez! Attaquez! Attaquez!"[25 - Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! (фр.).].

К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некого имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым, двухмесячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов, и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный, достал склянку чернил и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры лодыжек. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами.

Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Риволи. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела: молодые лощеные официанты, официанты не столь лощеные и явно голодающие, толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи уборщицы. Перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение двух часов внимания не обратил, и мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше двух часов. Впоследствии, с обидным опозданием, выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена; не поскупившимся на двадцать франков место обычно находилось.

Потопали к “Отелю Скриб", час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потащились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями: недостроенный ресторан закрыт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тротуарам четырнадцать километров, мы так устали, что пришлось полтора франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции "Пляс Итали" он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно и все что остается – криминал:

– Лучше грабить, чем голодать, mon ami. Я уж про это часто думал, прикидывал: жирный богач американец – темный закоулок под Монпарнасом – булыжник в чулке – трах! – карманы обшарить, мигом скрыться. Вполне реально, разве нет? Лично я бы не дрогнул – войну отвоевал, не забывай.

Преступный план Борис в итоге все же отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить.

По прибытии ко мне в номер еще полтора франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился (еда, видимо, действовала на его организм с силой крепчайшего коктейля). Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу:

– Завтра найдем что-нибудь, mon ami, я носом чую. Фортуна улыбнется. Да и мозги у нас обоих в порядке – человек с мозгами голодным не останется.

На что способен человек с мозгами! Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений, и что ж, ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за пятнадцать франков. Потом – знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? – где клерк поставил "en or"[26 - Из золота (фр.).], он приписывал "et diamants"[27 - И бриллиантов (фр.).], где было "пятнадцать франков", исправлял на "пятнадцать тысяч". Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тысчонку. Так что вот пораскинул я мозгами…

До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой, рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или Биаррице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший чтобы еще километра три пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу, подушкой послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком.

VI

Работа и назавтра не нашлась, и еще три недели фортуна хмурилась. Двухсотфранковый гонорар спас меня от квартирной катастрофы, но все прочее складывалось хуже некуда. День за днем мы с Борисом дрейфовали сквозь толпы парижан со скоростью двух миль в час, шлялись туда-сюда уныло, голодно и абсолютно безрезультатно. В один день, помнится, двенадцать раз пересекали Сену. Часами слонялись возле служебных входов; дождавшись начальника, подходили с искательной улыбкой, заранее сняв шляпу. Ответ следовал неизменный: ни в хромых, ни в неопытных не нуждались. Как-то нас чуть было не наняли. Поскольку Борис говорил, выпрямившись и спрятав палку за спиной, начальник не заметил больной ноги. "Да, – кивнул он, – нужны двое на склад. Пожалуй, подойдете, заходите". Но едва Борис сделал шаг, фиаско: "А-а, вы хромаете, – malheureusment…[28 - К сожалению (фр.).]". Мы регистрировались в агентствах, шли по любому объявлению, но бесконечная ходьба лишала расторопности, и мы, казалось, всюду на полчаса опаздывали. Был случай, нас почти уже приняли мыть вокзальные грузовые тележки, но в последний момент предпочли отдать места французам. Однажды встретилось объявление, что

цирку требуются рабочие с обязанностями двигать скамейки, убирать мусор и во время представления становиться ногами на две тумбы, чтобы под этой живой аркой бегал лев. Придя за час до обозначенного времени, мы нашли очередь из полусотни соискателей. Львам, очевидно, присущ особый магнетизм.

Бюро, где я давным-давно стал на учет, прислало petit bleu[29 - Телеграмма, посланная парижской пневматической почтой (фр.).], сообщив о желании некоего господина из Италии брать уроки английского. В petit bleu значилось "срочно" и предлагалось двадцать франков в час. Нас с Борисом охватило смятение. Вот он, отличный шанс, и ускользает – нельзя же явиться к ученику в пиджаке с драными локтями. Потом нас осенило, что достаточно благопристоен пиджак Бориса; брюки от моего костюма, правда, не подходили, но они были серыми, а потому могли сойти за якобы фланелевые. Пиджак, огромнейший, пришлось надеть небрежно, нараспашку и все время держать руку в кармане. Я торопливо выбежал, не пожалел семьдесят пять сантимов на автобус. В бюро, однако, ждало известие о том, что господин передумал и покинул Париж.

Борис мне рекомендовал сходить на Центральный рынок, попробовать наняться грузчиком. Я пришел в половине пятого утра, когда заваривалась самая работа, высмотрел бригадира, низенького толстяка в котелке, и направился к нему. Прежде чем дать ответ, тот быстро схватил мою руку и ощупал ладонь:

– А ты как, сильный?

– Очень, – лживо уверил я.

– Bien[30 - Хорошо, ладно (фр.).]. Покажи себя, ну подыми-ка эту штуку.

Рядом стояла колоссальная корзина с картофелем. Я ухватился за нее и понял, что не только поднять, даже сдвинуть ее не в состоянии. Толстяк пожал плечами и отвернулся. Я пошел прочь. Минутой позже искоса оглянулся: грузчики поднимали эту корзину на телегу вчетвером. Весила она центнера полтора. Бригадир сразу понял, что я не гожусь, и нашел способ меня спровадить.

Подчас, в очередном приливе светлых надежд, Борис тратил пятьдесят сантимов на марку и отправлял какой-нибудь из бывших возлюбленных письмо с просьбой о помощи. Ответила наконец лишь одна. Та, что когда-то кроме пылких ласк получила еще двести франков в долг. От ожидавшего внизу конверта со

знакомым почерком Борис восторженно обезумел. Схватив письмо, мы полетели к нему на чердак, как дети с крадеными леденцами. Борис прочел и молча передал листок мне. Послание гласило:

"Мой Обожаемый и Драгоценный Зверик!

Как изумительно было раскрыть Твое письмо, строки которого напомнили дни нашей дивной любви и поцелуи Твоих горячих губ. Эти чудесные воспоминания волнуют сердце, словно бы аромат засушенных нежных фиалок.

А про те двести франков, что Ты пишешь, о нет! никак. О мой Единственный, Ты не познаешь, какая боль во всей моей душе от Твоих затруднений! Но чего ж ожидать человеку? В этом мире для каждого присуждены страдания. И мне судьба тоже ужасно жестокая. Сестричка заболела (ах, бедняжка, как она мучилась!), на докторов ушло кошмар сколько. Ни франка не осталось, клянусь Тебе, у нас самих сейчас до крайности трудные времена.

Не унывай, мой Зверик, главное – не унывать! Помни, что страшные черные тучи когда-нибудь уходят и потом к нам опять сияют лучи зари.

Верь, Драгоценный мой, я не забуду Тебя навек. И прими бесконечных поцелуев от той, которая будет вечно любить Тебя до гроба,

Твоя Ивонн".

Письмо настолько разочаровало Бориса, что он улегся на кровать и отказался в тот день ходить искать работу. Моих шестидесяти франков хватило кое-как протянуть пару недель. Фальшивые уходы в ресторан я прекратил, мы ели у меня в номере, устраиваясь один на стуле, другой на краешке кровати. Борис сдавал в общую кассу свои два франка, я добавлял три-четыре – покупались хлеб, сыр, картошка, молоко и над спиртовкой варился суп. Поскольку из посуды были лишь кастрюлька да чайная чашка, то каждый раз завязывался любезный спор, кому есть из кастрюльки (порция больше), кому из чашки, и всякий раз, к моему тайному негодованию, Борис первым сдавался на кастрюльку. Иногда вечером мы еще ели хлеб, а иногда не ели. Белье делалось все грязнее и противней, и уже три недели прошло с тех пор, когда я принимал ванну, Борис же, по его словам, в ванне не мылся месяцами. Примирял с такой жизнью лишь табак. Курева у нас имелось вволю, так как Борис успел где-то свести

знакомство с одним солдатом (рядовых в армии бесплатно снабжают сигаретами) и закупил у него пачек тридцать по полфранка.

Борису в нашей ситуации жилось гораздо хуже, чем мне. Пешие марши и ночевки на полу покоя не давали его больной ноге, и со своим гигантским русским аппетитом он сильнее терзался голодом, хотя внешне вроде нисколько не худел. А вообще поражал веселым нравом и талантом бесконечно надеяться. Всерьез уверял, что у него есть собственный святой покровитель, и порой, когда приходилось совсем туго, высматривал в канавах деньги, говоря об обычае святого милосердно подбрасывать двухфранковые монеты. Однажды мы томились на улице Руайяль, возле русского ресторана, где хотели просить работу. Вдруг Борис решил срочно зайти в Церковь Мадлен, поставить там полфранковую свечку его святому покровителю. Вернувшись, сообщил, что для страховки торжественно возложил почтовую марку (тоже за пятьдесят сантимов) как жертвоприношение всем бессмертным богам. Должно быть, боги и святые не ладили между собой; во всяком случае, работу мы тогда упустили.

Иногда утром Борис просыпался на дне отчаяния. Лежал в кровати, чуть не плача, проклиная еврея, у которого жил. Еврей последнее время начал капризничать насчет выдачи ежедневных двух франков и, того хуже, напустил на себя важный, снисходительный вид. Борис говорил, что мне, англичанину, не понять, сколь мучительно русскому благородному человеку оказаться под еврейской пятой.

"Еврей, mon ami, – философски определял он, – это истинный еврей! Даже порядочности ему не хватает стыдиться этого. Подумать только, что российский офицер – не помню, говорил ли я тебе, mon ami, что служил капитаном во Втором сибирском? Да, капитаном, а отец-то полковником был. И вот я, куском хлеба обязанный еврею. Евреи это…

Вот я тебе расскажу, кто это. Как-то в начале войны шли мы маршем, остановились на ночлег в одной деревне. Жуткий старый еврей, борода рыжая как у Иуды, прокрался в мое помещение для постоя. Спрашиваю, чего ему надо. "Ваша честь, – говорит он, – я привел вам красивую юную девушку, только семнадцать исполнилось. И будет все лишь пятьдесят франков". – "Спасибо, – отвечаю, – не хватало мне еще подхватить заразу". – " Заразу! – кричит еврей, – mais, monsieur le capitaine[31 - Но господин капитан! (фр.).], об этом можете не беспокоиться, это же моя собственная дочь!". Вот тебе еврейский характер.

Рассказывал я уже тебе, mon ami, что в царской армии считалось дурным тоном даже плевать в еврея? Нечего, мол, на него тратить слюну русского офицера. Да, эти евреи…"

В подобном настроении Борис обычно чувствовал себя совершенно больным и разбитым. До вечера лежал в замызганных, кишащих паразитами простынях, курил и читал старые газеты. Иногда мы играли в шахматы. Доски не было, ходы мы записывали на обрывке бумаги, позже сами сделали доску из фанерки от ящика, вместо фигур использовали пуговицы, бельгийские монеты и прочую дребедень. К шахматам Борис относился с характерной для многих русских страстью. Все приговаривал, что шахматные правила в точности соответствуют правилам боев любовных и военных и, научившись побеждать в одном виде сражений, непременно будешь выходить победителем во всех других. Еще он говорил, что над шахматной доской совершено забываешь о голоде, однако в моем случае это явно не подтвердилось.

VII

Деньги мои быстро таяли – до восьми франков, четырех, одного, до двадцати пяти сантимов, а двадцать пять сантимов уже не деньги, ничего на них не купишь кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб всухомятку, потом на двое с лишним суток я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди, здоровья ради голодающие по три недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с четвертого дня, – не знаю, никогда не заходил далее третьего. Наверное все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой.

В первый день я, чересчур вялый для поисков работы, занял удочку и пошел к Сене рыбачить на приманку из дохлых мух. В Сене много плотвы, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На второй день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая "Записки Шерлока Холмса". Единственное, к чему был способен, голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов, больше всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачав, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от

голодания это полнейшая апатия; это и еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причины такого симптома мне неизвестны, но любой голодавший наблюдение подтвердит.

На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, напроситься хотя бы день-другой делить с ним его двухфранковый паек. Придя, застал Бориса на кровати, в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь:

– Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!

– Кто? Кого?

– Еврей! Мои два франка украл, собачий сын, ворюга! Ограбил дочиста, пока я спал!

Как выяснилось, накануне ночью еврей категорически впредь отказался от выплат ежедневного пособия. Они спорили-спорили, в итоге еврей все-таки согласился дать два франка, сделав это, сказал Борис, наигнуснейшим образом – прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную благодарность. А под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги.

Вот так удар! Зря я, конечно, размечтался, обнадежил брюхо (грубейшая ошибка, когда ты голоден). Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаяние отнюдь не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух:

– Так, mon ami, положение критическое. У нас на пару двадцать пять сантимов, и, думается мне, еврей вряд ли еще когда-нибудь мне выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не поверишь, негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Скотина подлая! Но есть новость похуже: еврей нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил – вздумал разом и деньги сэкономить и от меня скрыться. Если еврей смоется, я останусь без жилья, а патрон, черт его дери, в счет долга конфискует мой чемодан! Нам надо действовать решительно.

– Хорошо. Только что мы можем? По-моему, нам остается лишь заложить наши пальто и что-нибудь поесть.

– Это да, обязательно, но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. Подумать страшно – заберут мои фотографии! Ну, план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись раньше него. Foutre le camp[32 - Удрать (фр.).] – внезапное хитрое отступление, понимаешь ли. Правильный маневр?

– Борис, мой дорогой, но каким образом? Тебя же днем сразу поймают.

– Ну так, стратегию конечно надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов, уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут – ох и скупердяи эти французы! Я, однако, придумал способ со всем справиться, если ты мне поможешь.

Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил:

– Слушай. Прежде всего необходимо заложить наши пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк Буржуа – двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Сене, набей карманы камнями, принесешь – сложишь в мой чемодан. Угадываешь мысль? А я тем временем заверну в газету побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес ближайшей прачечной. Заговорю таким, знаешь, развязным, небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что и заподозрит, сделает как всегда, грошовая душонка: влезет сюда, попробует мой чемодан на вес. Учует тяжесть – будет думать, что добра много. Стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карманах.

– Так, а чемодан?

– А-а, это? Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка, стоил-то всего двадцать франков. И вообще, что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне – бросил под Березиной целую армию!

Борис так воодушевился этим проектом (именовавшемся у него une ruse de guerre[33 - Военная хитрость (фр.).]), что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана – втихую смывшись, негде будет голову приклонить, – он

игнорировал. Ruse de guerre вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто (прогулка в девять километров на пустой изголодавшийся желудок) и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный, с брезгливой миной, настырный коротышка – типичный французский чиновник, отверг наши пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, заявил он, вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние двадцать пять сантимов даже коробку было не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть.

– Merde! – чертыхнулся Борис. – Положение усложнилось! Ну ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан.

– Но как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. Нет, невозможно!

– Нет? Легко же ты сдаешься, mon ami! А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей! Прорвемся.

Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на пять, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом, но у патрона имелась только одна слабость – le Sport, беседа о котором могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере "Пти паризьен", потом, разведав обстановку на лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашлянет в момент, по его мнению благоприятный. Ждал я, дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул – я пулей пронесся мимо, радостно возблагодарив свои не скрипнувшие башмаки. План, может быть, и не удался бы, не обладай Борис мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста. Блестяще также проявилась его выдержка; смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко, что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда, Борис вскоре нагнал меня и мы удрали.

И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне – откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, – что carte d'identie[34 - Удостоверение личности (фр.).]

недостаточно: я должен предъявить паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с carte d'identie был непорядок (требовавшее уплаты за перерегистрацию, удостоверение не продлевалось), так что нельзя было оформить залог и на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги, ко мне, чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт Руайяль.

Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до четырех. Было лишь полвторого, я с утра отшагал уже двенадцать километров, проголодав уже шестьдесят часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно неостроумных шуток.

Затем счастье словно по волшебству переменилось. Я брел обратно улицей Брока – вдруг на булыжнике сверкнула монетка в пять су. Кинувшись на добычу, я с трофеем побежал к дому, схватил последнюю нашу, такую же монету и купил фунт картофеля. Горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубни и соли не было, но мы сожрали картошку мигом, с кожурой. После чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда.

В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал: если мне здесь за целый ворох прекрасных добротных вещей дали семьдесят франков, на что рассчитывать за два старых пальто в картонном чемодане? Борис надеялся на двадцать франков, я на десять, а то и пять. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу Numero 83. Уселся я в первом ряду – не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат пять франков.

Наконец выкликнули: "Numero 117!"

– Да, – встал я.

– Пятьдесят франков?

Шок был почти таким же, как тогда, впервые, когда я услыхал "семьдесят". До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера – даже продать оба наши пальто за пятьдесят франков было немыслимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, глаза его нетерпеливо вскинулись:

– Ну? Сколько дали? Меньше двадцати? Но десять-то уж дали? Nom de Dieu[35 - Ну уж, ей-богу (фр.).], пять – это наповал. Нет, mon ami, не говори, что пять. Если ты скажешь, что дали пять, ей-богу всерьез начну выбирать, где утопиться!

Я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым как мел, потом вскочил и стиснул мою руку, едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки, и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне еще в нем не случалось наблюдать.

"Ну что я тебе говорил? Капризы солдатской фортуны! Утром с пятью су, а теперь взгляните-ка на нас. Я всегда утверждал – деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы Фондари, которого пора бы навестить, – вытянул у меня, мошенник, четыре тысячи. Величайший прохиндей в трезвом состоянии, но – любопытная игра природы – становится кристально честным, когда напьется. Пойдем разыщем его. Очень может быть, что пару сотен и вернет. Merde! Двести уж пускай отдаст, allons-y![36 - Пошли! (фр.).]".

Мы отправились на улицу Фондари и приятеля разыскали, и он был пьян, но двести франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились, посреди мостовой началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша, напротив – Борис ему должен четыре тысячи, и оба беспрестанно взывали ко мне как арбитру. Сути их спора я так и не уловил. Они ругались и ругались, сначала на улице, потом в бистро, потом в ресторане prix fixe[37 - Твердых (низких) цен (фр.).], куда мы заходили ужинать, потом в другом бистро. В конце концов, два часа обвинявшие друг друга в воровстве, приятели дружно загуляли, пропив деньги Бориса подчистую.

Ночевал Борис в квартале Коммерс у сапожника, тоже русского эмигранта. Что касается меня, то в моем кармане еще оставалось восемь франков, я был накормлен и напоен до отвала, располагал надежным запасом курева – действительно волшебное преображение после пары нерадостных деньков.

VIII

С двадцатью восемью франками в руках можно было возобновить наши попытки найти работу (двадцать франков Борис, на непонятных условиях остававшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга). Друзей, по преимуществу таких же бывших офицеров, Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, кое-кого кормили женщины, кому-то повезло вывезти из России деньги и сделаться владельцем гаража или танцзала. Вообще, русские беженцы в Париже – народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Были, конечно, исключения. Борис рассказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах. Разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров и, пообедав, дружески подзывал того к столу.

– А! – начинал князь. – Оба мы, стало быть, старые вояки? Плохи теперешние времена? Ничего, ничего, русский солдат страха не знает. Какого полка?

– Такого-то, сударь, – отвечал официант.

– Храбрый, доблестный полк! Помню, смотр ему делал в 1912 году. Да, между прочим, неприятность – бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит, выручит франков на триста.

Имевший триста франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал. И вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании.

От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодное дельце. Дня через два после того как были сданы в ломбард наши пальто, он довольно таинственно спросил:

– Скажи, mon ami, есть у тебя политические убеждения?

– Нет, – ответил я.

– У меня тоже никаких. То есть, конечно, вечная верность отечеству, но остальное все – …! А что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и библию наверняка читал. Я что хочу сказать – ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов?

– Разумеется, не прочь.

– Ладно! В Париже действует подпольное русское общество, от которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты, и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура: обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем.

– Но чем же? Мне, во всяком случае, ничем, я ведь не русский.

– То-то и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас, так могут заказать эти статейки тебе.

– Мне? Но я ничего не смыслю в политике.

– Merde! Они тоже. Кто ж действительно что-либо смыслит в политике? Проще простого – перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков "Дейли Мейл"? Спиши оттуда.

– Но "Дейли Мейл" газета консерваторов, ненавидящих коммунистов.

– Ну списывай из "Дейли Мейл" наоборот, тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, mon ami, упустить этот шанс, тут светят сотни франков.

Идея мне совершенно не понравилась – парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами, а я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад шпик заметил меня в дверях коммунистической редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество – может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное рандеву. Названия улицы не помню – какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле Палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошлись по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти (там была прачечная), а затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его

наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на шпика. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились и совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей.

Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка сказала, что к "русскому господину" через двор, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько маршей и остановились – перед нами высился угрюмый молодой человек с шевелюрой, растущей чуть не от бровей. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски.

– Mot d'ordre![38 - Пароль (фр.).] – рявкнул он, не дождавшись ответа.

Я испуганно замер. Паролей я не ожидал.

– Mot d'ordre! – повторил русский.

Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал: назвал пароль или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатушку с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты русским шрифтом, громадный аляповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака, – надписывал адреса на бандеролях наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски, с сильным акцентом.

– Крайнее легкомыслие! – раздраженно воскликнул он. – Почему вы явились без белья?

– Без белья?

– Все, кто приходят к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную здесь внизу. Следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию.

Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул, и пошли долгие переговоры по-русски. Вел

диалог только небритый, а привалившийся спиной к стене угрюмый, не отказавшись, видимо, от своих подозрений, молча сверлил меня глазами. Было так странно – находиться в потайной комнатке с революционными плакатами, слушать чужие, совершенно непонятные слова. Русские говорили быстро и страстно, то улыбаясь, то пожимая плечами. А я раздумывал, о чем же они. Вероятно, называют друг друга "батенькой", "голубчиком" или "Иваном Александровичем", как персонажи русских романов. И обсуждают революционность; небритый, наверно, заявляет: "Мы никогда не спорим, диспуты – игры буржуазии! Наши аргументы – дела!". Потом я выяснил, что речь шла не совсем об этом. Требовалось двадцать франков вступительного взноса, и Борис обещал (всего франков у нас имелось лишь семнадцать). В конце концов, тряхнув наш драгоценный финансовый запас, Борис авансом заплатил пять.

Угрюмый, явно подобрев, присел на край стола. Небритый начал по-французски меня опрашивать, делая на листке пометки: "Являетесь ли коммунистом?" – "Сочувствую, хотя ни в каких партиях никогда не состоял". – "Знаете ли политический климат в Англии?" – "О, конечно, конечно!". Я упомянул разных министров, обронил несколько презрительных замечаний о лейбористах. "А как насчет le Sport? Сможете ли давать статьи о le Sport?" (Футбол и социализм как-то таинственно связаны на континенте). – "О да, еще бы!". Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал:

– Evidemment[39 - Вполне очевидно (фр.).], вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты? Подробности мы уточним.

– Охотно.

– Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почтой. Или же днем. Ставка у нас – сто пятьдесят франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельем. Au revoir[40 - До встречи (фр.).], товарищ!

Мы спустились по лестнице, осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой:

– Ну наконец-то! Наконец-то! Вот теперь, mon ami, фортуна по-настоящему нам улыбнулась. Надул ты их отменно. Слыхал, как он тебя стал называть "товарищем"? Сто пятьдесят франков за статью – Nom de Dieu, экая удача!"

Наутро, услышав шаги почтальона, я стремглав побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты – снова мне ничего. Прождав три дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор.

Дней через десять нами снова был совершен визит в подпольное бюро, не забыты были и меры конспирации: узел "белья" смотрелся очень убедительно, – тайное общество испарилось! Гладильщица в прачечной не знала ничего кроме того, что "ces messieurs"[41 - Эти господа (фр.).] съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом! Утешало, что потеряли только пять франков, не двадцать.

Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов; думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смышленые ребята, роли свои играли превосходно, контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья – гениально.

IX

Еще три дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось два проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в отеле “Икс" около площади Конкорд, а во-вторых, вернулся наконец патрон нового русского ресторана на улице Коммерс. Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести:

– По одежке, по одежке встречают, mon ami. Дайте мне новый костюм – через час я займу тысячу франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? – с обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, mon ami?

– Выглядишь бледным.

– Проклятье, будешь бледным на хлебе и картошке! Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка!

Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону.

Патрон был невысоким плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать о баснословном своем посудомоечном искусстве.

Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории плонжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью, патрон потряс мне руку.

– О, так вы англичанин? – воскликнул он. – Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф?

– Mais certainement[42 - Ну разумеется (фр.).], – сказал я, угадывая нужный ответ.

– Всю жизнь лелею мечту о гольфе. Не будете ли столь любезны, дорогой monsieur, не поясните ли хотя бы несколько основных приемов?

По-видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что все entendu: как только ресторан откроется, Борис станет

метрдотелем, а я плонжером и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, когда ожидается открытие. "Ровно через две недели", – царственно ответил patron (он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел). – "Ровно через две недели, день в день!". Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану.

Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни, размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом "старинном" стиле (патрон именовал его "нормандским": перекрестья темных фальшивых балок на белой штукатурке и т. п.), название для пущей средневековости придумано – "Трактир Жана Коттара". Имелся рекламный листок, где среди прочего вранья о местных достопримечательностях сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил захаживать Карл Великий, – изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладострастные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись.

Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дождаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того – жуликом неумелым, и возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдотелем, обескуражить было невозможно.

– Получилось! Успех – всего-то пару недель продержаться! А что такое парочка недель? Жратва? Je m'en fous![43 - Плевал я! (фр.).] Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой! Брюнеткой, интересно, или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая.

Два следующих дня прошли уныло. На последние шестьдесят сантимов было куплено полфунта хлеба с долькой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в Ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу; кроме этого нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. Вконец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо кроме съестного. Помню обед, выбранный наконец Борисом: дюжина устриц, борщ (отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны), раки, цыпленок en casserole[44 - Тушеный (фр.).], говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старый бренди – относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспеяния, мне доводилось видеть, как он без всяких

затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента.

Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал, и был еще один день голодовки. В открытие "Трактира Жана Коттара" мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером, часов в десять с улицы раздался призывный клич. Я подошел к окну – ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего он кинул мне вынутый из кармана, согнутый пополам батон:

– Mon ami, mon cher ami – спасены! Угадай?

– Неужели ты нашел работу?

– В "Отеле Икс" около площади Конкорд – пять сотен в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!

У него, хромого, полсуток отработавшего на ногах, первой заботой было ночью потащиться за три километра меня обрадовать! А днем он велел дожидаться его в саду Тюильри на случай, если выйдет приволочь мне какой-нибудь еды. В назначенное время возле скамейки появился Борис. Достал из-под жилета большой бумажный сплющенный кулек: телячьи фрикадельки, ломти хлеба, кусочек камамбера и эклер.

– Voil?! Больше не смог вынести, швейцар – ушлая сволочь.

Довольно неуютно жевать объедки на глазах у толпы посетителей парка, особенно в Тюильри, где всегда полно хорошеньких барышень, но голодному не до того. Я ел, а Борис мне рассказывал, что у него место в служебном кафетерии, что обслуживать кафетерий унизительно, это для официанта страшное падение, однако временно, до открытия "Трактира Жана Коттара", сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тюильри, куда Борис будет мне приносить поесть сколько сумеет. Наша система действовала, я кормился исключительно результатами покраж. Три дня спустя проблемы разом разрешились – один из плонжеров "Отеля Икс" уволился и по рекомендации Бориса место досталось мне.

X

"Отель Икс" – грандиозный дворец с парадной колоннадой; сбоку незаметной крысиной норкой ниша – служебный вход. Пришел я туда утром, без четверти семь. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пялившегося из своей конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился chef du personnel[45 - Заведующий персоналом (фр.).] (должность вроде помощника управляющего) и начал задавать вопросы. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт плонжера, услышал мое "имею", искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но, узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять.

– Как раз искали человека попрактиковаться в английском, – пояснил он. – Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски только и знаем"…"! – Он произнес словцо, которое карябают на стенках лондонские мальчишки. – Ладно, пошли.

Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор, с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль (вообще-то, вероятно, и километра не было), вызывал полное ощущение глубокого корабельного трюма: тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий, дрожащий шум от кухонных печей, точь-в-точь как от пароходной машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени, раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло – стофунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, щека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком "range-toi, idiot!"[46 - Посторонись, болван! (фр.).], носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано: "Скорей найдешь в ноябре летний день, чем в "Отеле Икс" честную женщину". Все это выглядело диковато.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Чертова шлюха! (фр.).

2

Ну и потаскуха! (фр.).

3

Да заткнись, сволочь старая!

4

Хозяйка (фр.).

5

"Кредит скончался" (фр.).

6

"Землянички и малинки" (фр.).

7

"Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк?" фр.).

8

Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! (фр.).

9

Дамы и господа (фр.).

10

Утонченным, порочным (фр.).

11

Но жизнь прекрасна (фр.).

12

Под американца (фр.).

13

Ну вот! (фр.).

14

Неизбежно (фр.).

15

"Молодым скелетом" (фр.). Из стихотворения Шарля Бодлера "Веселый мертвец".

16

Буквально – "дерьмо!" (фр.); популярное ругательство в значении "черт!", "к черту!".

17

"Свобода, Равенство, Братство" (фр.).

18

Номер (фр.).

19

Вот как! (фр.).

20

Вот, мой друг! (фр.).

21

Ну что же, друг мой (фр.).

22

От французского plongeur – мойщик посуды (в ресторане).

23

Еще поживем! (фр.).

24

Дело решенное (фр.).

25

Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! (фр.).

26

Из золота (фр.).

27

И бриллиантов (фр.).

28

К сожалению (фр.).

29

Телеграмма, посланная парижской пневматической почтой (фр.).

30

Хорошо, ладно (фр.).

31

Но господин капитан! (фр.).

32

Удрать (фр.).

33

Военная хитрость (фр.).

34

Удостоверение личности (фр.).

35

Ну уж, ей-богу (фр.).

36

Пошли! (фр.).

37

Твердых (низких) цен (фр.).

38

Пароль (фр.).

39

Вполне очевидно (фр.).

40

До встречи (фр.).

41

Эти господа (фр.).

42

Ну разумеется (фр.).

43

Плевал я! (фр.).

44

Тушеный (фр.).

45

Заведующий персоналом (фр.).

46

Посторонись, болван! (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/dzhordzh-oruell/funty-liha-v-parizhe-i-londone

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити